

В. Г. Белинский

**Жизнь, как она
есть. Записки неизвестного,
изданные Л. Брантом...**



Виссарион Григорьевич Белинский

Жизнь, как она есть.

Записки неизвестного, изданные Л. Брантом...

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2898465*

Аннотация

Л. В. Брант – беллетрист и критик конца 1830–1840-х гг., в течение ряда лет фельетонист «Северной пчелы». Одержимый, по выражению Белинского, страстью «сочинять во что бы то ни стало», Брант перепробовал себя во многих родах – в повести, романе, критических статьях и библиографических обзорах и т. д., публикуя книжки и брошюры за свой счет. Все это неизменно вызывало насмешку в журналах самых разных направлений. В рецензии Белинский приводит без каких-либо изменений и сокращений все, что было сказано по этому поводу автором романа, а затем кончает своеобразной пародией на эти его выпады, пародией, заключающей убийственную характеристику самого Бранта.

Содержание

Примечания
Комментарии

40

Виссарион Григорьевич Белинский

Жизнь, как она есть. Записки неизвестного, изданные Л. Брантом...

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ. Записки неизвестного, изданные Л. Брантом. Санкт-Петербург. 1843. В тип. К. Жернакова. Три части. В 12-ю д. л. В I части – 236, во II – 230, в III – 260 стр.

Все поэты, сколько их ни было, начиная с того времени, как на свете явились поэты, и до наших дней, – старались изображать *жизнь, как она есть*, и ни один из них, ни все вместе не успели окончательно показать миру *жизнь, как она есть*. Это оттого, что жизнь неисчерпаемо глубока и бесконечно многостороння: сколько ни изображайте ее, всегда остается что изображать; сколько ни трудитесь, а всегда будете исписывать только листочки жизни и никогда не напишете ее целой книги... Так думали мы всегда; но, прочитав заглавие нового творения г. Бранта, мы было поколебались в нашем убеждении. Нам пришло в голову: может быть, доселе еще не было настоящего гения, и все эти Гоме-

ры, Эсхилы, Софоклы, Эврипиды, Аристофаны, Шекспиры, Сервантесы, Байроны, Вальтеры Скотты, Гете, Шиллеры и tutti quanti¹, может быть, все они или гении-самозванцы, или только обыкновенные талантики, которых человечество, за отсутствием истинного гения, приняло за гениев... Может быть, – продолжали мы мечтать, пораженные смелостью заглавия романа г. Бранта, – может быть... ведь для чудес нет законов... может быть, в особе г. Бранта является миру этот истинный гений, которому суждено изобразить *жизнь, как она есть*...^[1] Ломайте же, поэты, ваши перья – вам нечего больше делать: загадка решена, слово найдено!..^[2] Бросайте, люди, в огонь все прежние романы: в них только отрывки, клочки жизни, тогда как г. Брант предлагает вам, за три рубля серебром, целую книгу жизни, – жизнь, как она есть!.. Но кто же этот смелый, этот гениальный г. Брант?.. Как кто? неужели же вы его не знаете? Он тот, который некогда даром рассылал при газетах свои критические обзоры русской литературы^[3] и другие сочинения; он тот; который в 1840 году издал два томика повестей, поднятые на смех всеми журналами; он тот, который потом, с горя, издал брошюрку «Петербургские критики и русские писатели», с портретом автора, – которая брошюрка опять насмешила все журналы;^[4] он тот, который в прошлом году издал чувствительную повесть «Аристократка», тоже единодушно осмеянную во всех журналах...^[5] Говорят, что писатель, которого все бранят, –

¹ все до одного (*ит.*). – *Ред.*

или великий гений, или самый бездарный писака; очевидно, что г. Брант – великий гений: у него столько ожесточенных «врагов» (?!), его сочинения так единодушно преследуются насмешками со стороны журналистов и невниманием со стороны публики... Но самое неопровержимое доказательство генияльности г. Бранта – это его «Жизнь, как она есть». Спешим познакомить публику с этим превосходным произведением.

В предисловии к роману г. Брант рассказывает, что у него был школьный приятель, который «в мундире конно-артиллерийского прапорщика и с подорожной в руках сел в *благословенную* тележку», в то время как он, г. Брант, «в смиренном черном фраке, остался в Петербурге» (стр. II^[6]). Дружья забыли друг о друге, – прапорщик по причине военных тревог, а г. Брант, в черном смиренном фраке, по причине жестокой и продолжительной болезни, которая «оторвала его от света, от всех внешних отношений, наконец, *от самого себя*» (стр. III). Спросите у медиков: они знают, какая болезнь отрывает человека от самого себя, и пожалейте о г-не Бранте!.. Прошло шесть лет, а это (как справедливо замечает г. Брант с свойственным ему глубокомыслием) *не шесть часов и не шесть дней* (стр. IV). (Таких глубоких истин в романе г. Бранта рассеяно без счета.) «Юность сменилась молодостью, а молодость приближалась к периоду зрелости» (стр. IV). Это так глубоко, что мы даже и не понимаем, что хотел сказать г. Брант; но нужды нет: оттого это так и хорошо...

Но вот раз г. Брант находит на своем письменном столе визитную карточку с именем своего друга. На другой день он и сам едет к нему – и тоже не застаёт дома и решается дождаться. Чтоб не заставлять своих читателей ждать в скуке свидания друзей, г. Брант очень обязательно занял их интересным описанием кабинета своего друга. Наконец это надоело самому г. Бранту, и он, от скуки, принялся читать лежавшую на столе рукопись, предполагая в ней путевой журнал... Права истинной дружбы велики... Но вот является сам хозяин. Сцена свидания вышла претрогательная, а г. Брант такой мастер рассказывать самым лучшим *печатным* слогом... Разговор друзей скоро обратился на рукопись, и заграничный друг рассказал целую историю о том, как досталась ему эта рукопись. Ему подарил ее сам автор, описавший в ней свою жизнь. Друг г. Бранта познакомился с ним на границе Швейцарии с Германией. Он очень заинтересовал друга г. Бранта, и г. Брант весьма скромно замечает по этому поводу: «Прошу припомнить – это говорю не я, а приятель мой: мне, в качестве издателя, говорить *сего* не подобает». Из этого видно, что г. Брант хочет, чтоб его считали не сочинителем, а только издателем «Жизни, как она есть». Обыкновенная уловка многих генияльных писателей! Вальтер Скотт приписывал свои романы ключарю какой-то сельской церкви; Пушкин сочиненные им самим повести издал под именем повестей Белкина и даже с предисловием от лица мнимого Белкина; Лермонтов в своем превосходном «Герое нашего времени»

хотел казаться только издателем записок Печорина, будто бы случайно ему доставшихся через Максима Максимыча. Почему же и г. Бранту было не поступить таким же образом? Мы уверены, что по примеру таких писателей, каковы Вальтер Скотт, Пушкин, Лермонтов и г. Брант, теперь все даровитые авторы будут прикидываться издателями собственных своих сочинений. Итак, дело ясное: г. Брант – подлинный и несомненный сочинитель «Жизни, как она есть». Это доказывается еще и чрезвычайным сходством в образе мыслей и выражения между предисловиями г. Бранта и записками неизвестного: явно, что то и другое писано г. Брантом. Да вот в первых же строках первой же страницы улика налицо. Слушайте: «Я родился... да, разумеется, я родился: иначе меня бы не было на белом свете; а если б не было, то тут нечего бы и говорить.... (четыре точки)». Согласитесь, что такая глубокая мысль, столь остроумно выраженная, могла выйти только из-под того пера, которое начертало в предисловии, что *шесть лет – не шесть часов и не шесть дней...*

Неизвестный (Евгений тож) начал себя помнить с пятилетнего возраста. *Юность* его до самой *молодости* текла так однообразно и скучно, что нет возможности прочесть ее описания, не заснув по крайней мере десяти раз. Няня ему все толковала печатным слогом (самый приличный слог для романа!) о Наполеоне. За это Евгений в одно прекрасное утро «схватил руку старушки и бросился к ней на шею; бабушка крепко прижала его к груди своей – и слезы их смеша-

лись в чистом, невинном объятии бескорыстной привязанности» (стр. 19). Между рассказами о Наполеоне бабушка написала Евгению, что генерал, его отец, некогда увез польку, переслал ее к себе в дом, а сам приехал после, потому что «знамена Марса не пускали еще его в мирную аркадскую область Гимена» (стр. 66); потом он на ней женился, но скоро опять уехал на войну, между тем как Теодора «носила под сердцем своим священный залог любви отсутствующего» (*собственные слова бабушки*, стр. 76). Родивши Евгения, Теодора умерла, несмотря на возвращение генерала, который с горя опять отправился на войну. Выражение лица генерала было *гомерическое*; по словам г. Бранта, выражение лица Наполеонова тоже было – *гомерическое*; по словам того же г. Бранта, который, часто употребляя этот эпитет при описании лиц своих героев, однако ж оставляет на догадку проныцательного читателя, что и лицо жида Соломона, играющего не последнюю роль в «Жизни, как она есть», было тоже – *гомерическое*. Наполеон явно принадлежит к числу героев этого романа; его в нем нет, но им наполнены целые страницы, – и г. Брант пишет о Наполеоне с особенным умилением, то есть особенно печатным слогом, словно о своем родственнике. И почему ж бы не так: все гении – родня между собою. Но вот герою № 1 (то есть Евгению) минуло уже пятнадцать лет, и он начал вести подробный журнал своей жизни, записывая в него происшествия каждого дня. Умница мальчик! В это время приехал его отец. Он был отчаянный бонапар-

тист, и, когда Наполеон очутился на острове Эльбе, генералу больше не с кем и не за кого было воевать. Но он приехал не один, а привез с собою старого профессора Буха с молодой женою, Маргаритою, и двенадцатилетним сыном, Мишелем. Этот Мишель был удивительный красавец, голос имел мелодический, нрав ангельский, ум генияльный и чудесно писал стихи. Маменька его, Маргарита, начала учить Евгения рисованию. В это время в мире произошли два великие события: Наполеон (№ 2 герой романа) ушел с Эльбы и произвел во Франции новую революцию^[7], а Евгений (№ 1 герой романа) влюбился в Маргариту. Евгению тогда было семнадцать лет, а Наполеону было уже за сорок пять лет. В то время как первый вновь завоевывал свою корону, последний завоевал Маргариту. Это было вот как: узнав, что Евгений ведет свой журнал, Маргарита захотела прочесть его, а прочитав, узнала из него, что Евгений ее любит. Тогда она рассказала ему свою историю, как г. Бух, в качестве благодетеля, насильно женился на ней, пятнадцатилетней сироте. Следствием этой взаимной откровенности было вот что: «И она привлекла меня к себе – и уста наши слились в горящий, продолжительный поцелуй, между тем как блуждающие руки ее обхватили стан мой, и я упал на грудь ее... За исступленным объятием последовала минута сладостного забвения; судорожный трепет пробежал по всем членам моим, будто в дремоте сна; мне казалось даже, что я впадаю в бесчувствие, в обморок, что я умираю...» (стр. 149). Когда Наполеон очутился

на острове св. Елены, г. Бух с генералом воротился домой, больно избил жену, а Евгения хотел отколотить палкою; но легче было стать перед заряженною пушкою, чем перед Евгением или Наполеоном в минуту их гнева, – и профессор чуть не полетел с ног.

Видите ли, как тесно связана история Евгения с историею Наполеона, а история Наполеона с историею Евгения? Мы всегда были такого мнения, что, несмотря на множество исторических документов и мемуаров частных лиц, в истории Наполеона есть что-то неясное, и приписывали это близости к нам великих событий его жизни, как она есть; но вышло другое: мы не знали жизни Евгения, как она есть. Теперь, благодаря г. Бранта, мы узнали ее, и в истории Наполеона для нас не осталось ничего темного, и наоборот, благодаря знанию истории Наполеона, для нас все ясно в жизни Евгения, как она есть. Сам автор, г. Брант, живо чувствовал связь, существующую в жизни обоих этих великих людей, и потому Евгений у него говорит: «В те дни, когда оканчивалась бурная политическая жизнь Бонапарте, начиналась моя собственная» (стр. 223). При этом случае Евгений очень основательно рассуждает о том, что судьба Наполеона дала толчок его воображению и мыслительной способности, и Наполеон же был виною, что Евгений не вступил на поприще гражданина. Поэтом он не сделался потому, что боялся зависти журналистов и критиков: чувствуя в себе великий гений, он знал, что наживет пропасть врагов. И хорошо сде-

лал!.. Но вот он едет в Веймар с письмом от отца своего к *господину тайному советнику фон Гете*, который сказал Евгению: «Вертер – шалость, грех моей молодости, который, впрочем, я охотно прощаю себе, потому что он очень мил с поэтической стороны» (ч. II, стр. 11). Как в этом виден Гете!.. Потом Гете попросил Евгения рассказать ему историю своей любви. «Всю жизнь мою я изучаю сердце человеческое, и, может быть, *повесть любви вашей* откроет мне новые тайники его» (стр. 12). Именно этим-то способом Гете и достиг знания сердца человеческого... Для этого всегда расспрашивал он мальчишек о их любовных шашнях... Удивительно постиг г. Брант этого непостижимого Гете!.. Евгений предложил ему свой дневник; Гете сказал, что начинает уважать его, несмотря на его семнадцать лет, потом подал ему свою творческую руку, а Евгений, отвесив его превосходительству несколько низких поклонов, вышел из кабинета. «Таково было первое мое свидание с гениальным человеком, переданное здесь во всей *исторической* верности!» (стр. 15). Да, видно, что г. Брант прилежно изучил Гете и глубоко постиг его. От Гете Евгений пошел в театр, где балет «произвел на него впечатление, особенно располагающее к прекрасному полу» (стр. 27), вследствие какого расположения Евгений очутился в доме «патриотов», которые играли в карты, курили трубки, пили вино и целовались с женщинами. Там он напился пьян... «В глазах у меня потемнело... голова кружилась... брюнетка не переставала ласкать меня с

возрастающим жаром и нежностью...» (стр. 33). Вследствие выпитого вина и «возрастающего жара и нежности брюнетки» Евгений заболел и, вылечившись, пошел к Гете, который, указав ему место на диване, сам, на том же диване, начал читать его дневник. По поводу известного приключения с Маргаритою у камина Гете сообщил Евгению, что в него, старика, была влюблена семнадцатилетняя девушка: явный намек на Беттину!^[8] Г-н Брант глубоко проник в отношения Беттины к Гете... Да и что может скрыться от такого зоркого наблюдателя, как г. Брант! он везде увидит свое... Затем Гете, прочитав Евгению длинную лекцию о слоге, отпустил его с миром.

Евгений перешел в Иенский университет, отпустил усы и начал жестоко жечь сигары и пить пунш. Любовных походов у него набралось столько, что он потерял им счет, и рассказывает только о примечательнейших. Там он встретился с веймарскою брюнеткою, Эрнестиною, кабинет которой был маленьким раем – «я разумею здесь рай в чувственном вкусе Магомета», – прибавляет Евгений (стр. 72). Из-за этой Эрнестины он дал оплеуху своему товарищу, Леониду, а «наутро, с рассветом, в уединенном месте, за городом, назначена была так называемая благородная разделка, кровавый расчет чести, свинцовая плата за обиду» (стр. 97). Но мальчишек развел дядька Евгения, с помощью полиции, и заставил их помириться в трактире. Между тем г. Бух умер, и Маргарита приехала с Мишелем в Иену. Евгений было к

ней... по старому следу; но она заговорила о добродетели, достоинстве женщины, о своем падении и проступке перед мужем, который женился на ней подлым образом, бил ее подлым образом, а перед смертью сознался, что сам изменял ей не раз и особенно в то время, как она изменила ему... Все герои г. Бранта люди очень падкие на скромное... Потом Маргарита завела издали речь о браке; но опытного Евгения этим уж нельзя было провести: он напился мертвецки пьян и прокрался ночью в комнату Маргариты... «Зачем вы здесь, Евгений?» – «Ответ был в моих глазах, в дикой наглости моих движений». Она хочет кричать, а он ей говорит: «Кричи – твой сын первый прибежит». Она на колени, молить, но напрасно... «Тогда не было для меня ничего священного; чувство жалости, все чувства заглушены были силою одного грубого, скотского чувства. Слабый вопль несчастной женщины замер под рукою моею...»

«Так, среди мглы ночной, вой бури заглушает крики гибнущего пловца, тщетно взывающего о помощи...»

«Так...» но пусть читатели сами прочтут 129 и 130 страницы второй части «Жизни, как она есть», чтоб иметь понятие о высоком лирическом пафосе, каким г. Брант умеет заканчивать свои сцены...^[9] А кто пожелает знать, как умеет сей вдохновенный сочинитель расплываться в поэтических выражениях после сцен возвышенных, того отсылаем к его несравненной «Аристократке».

Евгений был не только неутомимый самец, но и большой

резонер, – блудлив, как кошка, труслив, как заяц, по русской пословице. Простившись, он начал резонерствовать, а потом пьянствовать; но Маргарита пришла к нему и сказала, что она все сделала для защиты своей добродетели, но если уж... так оно лучше – знаете – продолжать... И в самом деле, правда! Это г. Брант справедливо назвал «подвигом Маргариты». Но не долго подвизался Евгений с Маргаритою: он уехал на родину, и если б не жидовская ловкость Соломона, то Ревекка, хорошенькая дочь его, сделалась бы жертвою Евгения... Самого г. Бранта возмутило непостоянство Евгения, и он очень патетически, с свойственным ему красноречием нападает на «неблагодарных чудовищ, в естественной истории так снисходительно называемых мужчинами» (стр. 153–154). После этого на сцену романа опять выступает его герой № 2, то есть Наполеон; но это для того только, чтоб умереть и оставить Евгению более свободное поприще для деятельности. И надо сказать, что он очень хорошо воспользовался этим выгодным для него обстоятельством: история с Ревеккою заставила его написать к Маргарите письмо с извещением, что он уже не любит ее; но когда Маргарита опять приехала в дом генерала (вероятно, вследствие гнусного обращения сэра Гудзона Лова с Наполеоном), Евгений опять сказал ей: «Маргарита! Маргарита! люблю тебя! и она не смела противиться моим ласкам, и сама ласкала меня... бедная, слабая женщина!» (стр. 226). В третьей части, по случаю смерти отца своего, Евгений переезжает жить

в Париж, с Маргаритою и Мишелем. Кстати о последнем. С ним случилась пречувствительная история: он женился и с радости начал писать стихи, которых ни один книгопродавец не хотел купить... из зависти к гению Мишеля, а совсем не потому, что плохих стихов никому не нужно. Тогда Мишель издал их на свой счет, и журналисты их разругали... тоже из зависти... Несмотря на то, что вошел в долги, и вместо того, чтоб дельными трудами кормить себя и жену, Мишель, как все несчастные писаки без дарования, но с самолюбивою страстью к бумагомаранию, поставил на сцену драму. Париж освистал ее – тоже из зависти, по мнению г. Бранта. Мелкое самолюбие писаки было раздражено этою неудачею, он во всем видел зависть, заговор против себя и во всяком, даже не исписанном листке бумаги – грозную критику на себя, и с отчаяния решился писать на том свете, где нет зависти и журналов, и оставил жену с ребенком. Это было самым умным делом со стороны этого героя № 3 «Жизни, как она есть». Хорошо, если б и все дрянные писаки последовали его примеру!.. Но мы забежали вперед, желая поскорее избавиться от этого глупого рифмоплета. Возвращаемся назад. Г-н Брант описывает Париж, и из его описания видно, что он основательно изучал... известную книгу г. Строева «Париж в 1838–1839 годах»^[10]. А Евгений между тем волочится напропалую. Влюбился он в актрису лет девятнадцати, «прекрасную и стройную, как художественная мысль поэта, сложенную полно и роскошно, как мечта о счастье,

игривую и резвую, как дитя, горделивую, как царица, пламенную и страстную, как испанка, и недоступную, как герцогиня Сен-Жерменского предместья» (стр. 70). Подкупив ее горничную, он залез к ней под кровать, пока она была в театре. Актриса приехала домой, разделась, попросила ужинать, потом еще разделась и выслала горничную – а Евгений все смотрит да смотрит из-под кровати... И вдруг он видит: «Красавица, так волшебной раскинувшись на своем диване, казавшаяся такою неземною, вдруг опустилась на землю... самым прозаическим образом...» (ч. III, стр. (78). В то самое мгновение Евгений выскочил из своей засады. «Оставьте ли вы меня наконец?» – «Могу ли иметь столько власти над собою?» – «Вы *суций* злодей» (язык парижских актрис!). – «А вы настоящий ангел!» – «Презренный человек!» – «Прелестнейшая женщина!» – «Подлец!» – «Благороднейшая жрица Мельпомены!» (стр. 82). Чем кончилась эта сцена – понятно: тем же, чем кончаются все сцены г. Бранта. «Я (говорит его Евгений) мог бы рассказать здесь еще десятка два приключений... Подчас мне впадало на мысль, что я походил несколько на знаменитого кавалера де Фоблаза^[11] и что похождения мои не годились бы для строго нравственного романа, хотя и нельзя сказать, чтобы, *в некотором смысле*, они совершенно были лишены назидательности» (стр. 83). Действительно, роман г. Бранта, *в некотором смысле*, можно счесть за пародию на роман Луве или на мемуары кавалера Казановы, и точно, он, *в некотором смысле*, не лишен нази-

дательности, подобно спартанским илотам, которых господа нарочно заставляли напиваться донельзя, чтоб молодые люди фактически убеждались в гнусности пьянства... Если г-н Брант под «некоторым смыслом» понимает такого рода назидательность своего романа, то, конечно, с ним все согласятся....

Теперь мы приближаемся к самому интересному месту романа г. Бранта. Надо сказать, что его Евгений познакомился, чрез Маргариту, с герцогинею д'Абрантес, которая называла его «проказником, шалуном (*polisson*), любимцем амура, человеком без всякого занятия» (стр. 61). Подлинный слог герцогини д'Абрантес! Она знала все тайны Маргариты и Евгения и кокетничала с последним (стр. 101). Называя его негодяем и волокитою, она просит его сесть к ней поближе да рассказать ей о новой его *интрижке* (стр. 103). Так как на ту пору у Евгения таковой не случилось, то герцогиня посоветовала ему идти в гусары, от чего Евгений отказался по причине боязни военной дисциплины; тогда герцогиня посоветовала ему пойти в министры; но Евгений отказался и от этого места, потому что оно скользко и хлопотливо (стр. 105). Затем герцогиня целует его (стр. 109), и, поцеловавшись, они оба решили на том, чтоб Евгению быть домашним секретарем у одного польского графа. Но вот самое интересное место романа г. Бранта – описание литературного вечера у герцогини. Так как г. Брант, по-видимому, особенно рассчитывал на это описание, то, чтоб сделать ему удовольствие,

МЫ ВЫПИШЕМ ВСЕ ЭТО МЕСТО, КАК НИ ДЛИННО ОНО:

В назначенный вечер я не преминул явиться к г-же Жюно и застал у нее довольно многолюдное общество, большую часть состоявшее из одних мужчин. Некоторые из них были в очках, и почти все с физиономиями, очень выразительно говорившими: «Мы люди мудрые, литераторы! В наших руках общественное мнение; мы законодатели ума и вкуса; что мы скажем, то и свято!» В числе этих мнимых представителей общественного мнения заметил я несколько лиц, которые с первого взгляда производили неприятное впечатление. Корыстолюбие, недоброжелательство, интрига, злость изображались в глазах их, как в верном зеркале, искусно освещенном. Тем не менее они старались казаться справедливыми, беспристрастными, благонамеренными. Но, несмотря на все усилия, настоящая природа этих господ проглядывала в их речах и суждениях, невольных обмолвках и даже в самых внешних движениях, иногда очень удачно передающих движения внутренние. Так пожилая женщина, желающая казаться молодою, напрасно прибегает ко всем пособиям искусства и кокетства. Сквозь румяна и белила, сквозь все косметические средства пробивается неумолимая морщина. Почтенные *сорок* нагло предъявляют себя из-за мнимо наивной улыбки, несколько раз репетированной перед туалетом и сопровождаемой умильным взглядом, которому тщетно домогаются придать искусственное

выражение взоров девятнадцатилетней красавицы!

– А, вот, наконец и вы, друг мой! – сказала герцогиня, встречая меня посреди своей гостиной, и прибавила вполголоса: – Видите ли, какой у меня собрался здесь ареопаг мужей великих и знаменитых, хотя, по чести сказать, без особенных причин, я охотно бы лишила себя удовольствия принимать этих господ. Между ними, скажу вам по секрету, только два или три человека заслуживают дружбу и уважение честных людей... а остальные... Но сядемте, и – в ожидании графа – я, в нескольких словах, постараюсь изобразить вам каждого из них...

И поток самых язвительных, самых едких эпиграмм полился из уст словоохотливой герцогини, которая близко знала все закулисные литературные сплетни, все тайные пружины печатных действий журналистов и потому могла передать мне, с самою отчетливою верностью, характерные портреты их, – то была отборнейшая галерея нравственного безобразия, душевной низости, прикрываемых личиною желания общественной пользы и добра, над которыми внутренно издеваются лицемерные поборники его.

– Одни из них злы по природе, – говорила, между прочим, герцогиня, – другие сделались злы по обстоятельствам, вследствие привычки постоянно говорить неправду и всё порицать; третьи не добры, не злы, а просто бесхарактерны, по недостатку чувства благородного стыда и уважения к самим себе. Таков, например, вот этот высокий журналист, с лицом,

исковерканным оспою и веснушками и несколько похожим на собачье. Он воображает себя первым остроумником в мире, колким сатириком и в этом счастливом убеждении, которое, по обыкновению, разделяется несколькими дураками, беспрестанно издевается над всем и всеми, вечно шутит и смеется. Сначала он привлекал к себе толпу, падкую на фарсы; но скоро, увидев в нем пустого гаера и шарлатана, она отступилась от него и заклеила его прозвищем *уличного шута*, каким прозвищем он, впрочем, гордится, по-видимому. Домогаясь снова приобрести ее благосклонность и истощась в насильственном остроумии, которое возбуждает теперь в читателях зевоту, сон и эфиопское храпение, – он лезет из кожи, надрывается от усилий – чем бы и как бы то ни было рассмешить читателей своего журнала, – ломается, кривляется, высовывает язык, пляшет и скачет, марает лицо свое, и без того некрасивое, сажею, углем, расписывает всякими цветами, рядится в самые уродливые маскарадные костюмы, надевает колпак с бубенчиками и всякими погремушками, строит гримасы, кувыркается, ходит на голове – все это, разумеется, шутовским пером своим; словом, прибегает ко всевозможным наглостям и пошлостям, чтобы только снова приманить к себе толпу, – но, увы, все напрасно, все невпопад уже! Толпа равнодушно проходит мимо, не смеется более даже над ним самим, потому что, наконец, он стал ей не смешон, а жалок...^[12]

Есть особенная категория мелких газетчиков,

издающих пустыньские листки, наполняемые сказками, побасенками, разными сплетнями и самую грязную, отвратительную брань. Вот, например, посмотрите налево, один из таких газетчиков – облизанный франтик, среднего роста, с глупенькою рожой, которую хочет облагородить очками, не подозревая, что они так же идут к нему, как к корове седло, как пастуху тога. Впрочем, у него есть некоторые достоинства – он знает английский и итальянский языки, очень деликатно ходит, преискусно кланяется и выражается отборным, сладеньким слогом, особенно когда обращается к прекрасному полу и думает блеснуть своею любезностию, которая, говоря без оговорок, сильно отзывается переднею. Но я слишком распространилась об нем. Он так мелок, ничтожен, просто сказать – глуп, что не стоит даже осуждения^[13]. Некоторые из его собратий и сотрудников несколько поумнее его: но тем хуже для них, потому что умишко, направляемый во вред себе и другим, умишко полуобразованный, вертящийся *около того*, чего сам порядочно не понимает, ниже и несноснее невинной природной глупости. Все это, однако ж, только некоторые частности, некоторые стороны целого. Много нужно красок и времени тому, кто захотел бы нарисовать общую картину нашей парижской журналистики, с разносторонними, разнообразными ее нравами и бесчисленными представителями. Вообще же можно сказать, что этот народ, большею частию, зол, ядовит, гадок снаружи и внутри, мстителен, продажен –

это язва, зараза, чума общества...

– Довольно, довольно, герцогиня! Если верить словам вашим – а я не смею им не верить, – то всех этих господ стоило бы перевешать...

– На самой крепкой и узловатой веревке, потому что они увертливы, гибки и скользки, как змеи... Посмотрите, к слову, на этого маленького, черномазенького человечка, что стоит у окна и разговаривает шепотом с двумя литераторами, своими сотрудниками. Вглядитесь хорошенько в отталкивающие черты его смугло-желтого лица, в его узенькие, ястребиные глаза – в них столько злобы и недоброжелательства, что кажется, будто это, ничтожное, впрочем, само по себе творенье, хочет заклевать весь род человеческий. Его снедают болезненная зависть и неукротимая жажда известности: они тем более заставляют страдать несчастного, что природа решительно отказала ему в уме и дарованиях авторских. Он ничего не написал, кроме дрянной, школьной брошюрки о Кромвеле да еще каких-то мыслей о Франции, никого не заставивших думать, по причине крайней их пошлости и бестолковости. Убедясь в собственном бессилии и совершенной своей бездарности, внутренне сознавая свое жалкое ничтожество, он домогается, однако ж, приобрести имя хотя чужими трудами и издает, в виде журнала, какую-то учено-литературную энциклопедию. Добрые и легковверные люди, которым он насулил горы золота и славы, ссудили его своим капиталом; но

в деле, где всего необходимее ум, дарования и сведения, на деньгах далеко не уедешь, а этот желчный человечек и грамматику-то плохо знает, судя по нелепой орфографии его тяжелой энциклопедии. Ему не оставалось ничего иного, как пуститься на отчаянные хитрости и наглым шумом обратить внимание на свою тощую фигурку. Завербовав кое-как в сотрудники целую шайку голодных писак с широким горлом, он начал с того, что смело объявил их талантами первой величины, и в то же время с неистовыми воплями восстал противу всех, кто не принял участия в его издании, кто, более или менее, пользуется славою или известностью, – провозгласил их писателями без дарований, без заслуг, утверждая, что все ошибались в понятии своем об их достоинствах, – шумел, кричал, выходил из себя и точно сделался на минуту предметом общего внимания: не знали, чему более удивляться – нелепости парадоксов или оригинальности выдумки этого штукаря. Однако ж издание не расходилось, и штука становилась убыточной для ее изобретателя. Надобно было во что бы то ни стало достать подписчиков на грузную энциклопедию. В крайности люди решаются на все. Промышленник напечатал огромное количество, сотни тысяч экземпляров, объявления о своем издании, расточая ему самые бесстыдные похвалы и хвастая, что в литературе никогда еще не бывало предприятия более полезного и успешнее достигающего своей цели!? Пресловутое объявление разослано было

по провинциям, где есть еще много простаков, верующих всему печатному. Употреблены были и другие, еще менее разборчивые средства к уловлению легковерия публики, и подписчиков сначала набралось порядочное количество. Ободренный мнимым успехом, маленькой величины человек решился, каким бы то ни было способом, упрочить существование своего издания. Нужны были новость и странность, и он прибегнул к ним, как к единственному пособию поддержать предприятие, Пустое в сущности, нелепое в основаниях, дикое в исполнении. На что ж, вы думаете, отважился фокусник? Вдруг, ни с того, ни с сего, он возвестил миру – а мир его знать не знал, ведать не ведает – возвестил, что во Франции вовсе нет и не бывало никогда литературы, что Корнель, Расин, Вольтер и другие классические писатели наши, составляющие честь и гордость нации, были не что иное, как незначительные и односторонние явления, далеко не заслуживающие той славы и почести, какими равно удостоивали их и современники и потомство. Но, уничтожая старые, всеми признанные знаменитости, надобно было создать новые кумиры. Удивительная энциклопедия не затруднилась тем и, с свойственным ей бесстыдством, дерзко провозгласила гениями каких-то упырей, прославляла их небывалые таланты и никому не известные заслуги. Но, увы, эта отчаянная выходка не удалась: она встречена была громким хохотом и всеобщими насмешками, тем естественнее, что длинные диссертации, которыми энциклопедия

мечтала обратить вверх дном понятия здравого смысла и истинного вкуса, были написаны тяжело и в высшей степени нескладно, языком варварским, ирокезским. Изложение, как нарочно, совершенно соответствовало дикости и странности мыслей этого нового взгляда на литературу. Взбешенный неудачей, непризнанный энциклопедист утешает себя теперь памфлетами, ругательствами на все, что только подпадает под собственное полуграмотное перо его или под перья достойных его сподвижников, – на все, что только пользуется в обществе отличиями и репутацией. Издание давно уже лишилось двух третей своих подписчиков, которые скоро увидели, какими мыльными пузырями вздумали опорочить их. Умирая медленно, мученической смертью, оно кое-как держится еще в провинциях переводными повестями и романами да порою, несмотря на предсмертные судороги и корчи, издает прежние неистовые вопли, которым, увы, даже из жалости или сострадания, не внемлет уже ни одно человеческое ухо! Кончится тем, что бедный энциклопедист, тщетно домогающийся славы и денег, впадет от бессильной злости в чахотку или, что еще хуже, сойдет с ума...^[14]

– Ну, а эти двое сотрудников его? – спросил я, заинтересованный историей черномазенького журналиста.

– Преданнейшие друзья его, – отвечала герцогиня. – Они всеми силами стараются продлить жизнь издыхающей энциклопедии, потому что со смертью

ее им также придется умереть с голоду... Один из них, тот, что пониже ростом, немного косой, с лицом, свороченным в одну сторону, главный критик энциклопедии, человек не совсем глупый и не без некоторых сведений, но с такими превратными понятиями о вещах и с таким странным, ошибочным направлением ума, что лучше было бы для ближних и для него самого, если б он был совершенным глупцом и невеждой^[15]. Другой... что корчит аристократа (а в родстве с комедиантами), высокий, белокурый, желающий казаться *львом*, несмотря на свою ослиную природу и вытянутую, как у теленка, шею... пишет в журнале черномазенького памфлеты и карикатуры. Его в насмешку прозвали «Тацитом бульваров и кофейных домов». Он проводит там почти целые дни, отыскивая мнимых оригиналов и сюжетов для мнимокурьезных рассказов, собирает новости и прислушивается к разным сплетням в низших слоях общества. В псевдоюмористических статьях своих он описывает небывалые похождения изобретаемых им дураков и франтов средней руки, смеется над ними, не подозревая, что сам-то он смешнее и глупее всех своих героев, в изображении которых тщетно силится быть забавным и остроумным. Пошлые карикатуры его, исполненные клевет на общество и неблагопристойностей, читаются только гризетками и дворниками...^[16] Эти три господина очень удивили меня сегодня своим посещением. Я просила одного знакомого моего пригласить

известнейших литераторов, пользующихся доверием публики, а он, в пылу усердия, привел всех повстречавшихся, в том числе и этих молодчиков. Посмотрите, – с ними стыдятся говорить даже их собратии по ремеслу, и они, как отверженные, не смеют тронуться с места и шепчутся между собою, – вероятно, изобретая новую клевету в отмщение за общее к ним презрение...

Обращаясь вообще к журналам, к их разностороннему влиянию на умы и нравы народные, герцогиня, между прочим, говорила следующее:

– Большинство убеждено, что парижские периодические издания служат к распространению просвещения и развитию вкуса в публике; но нельзя исчислить всего вреда, причиняемого ими в ложном направлении умов и страстей. Я не раз размышляла, что было бы весьма полезно и даже благотворно, если б правительство усвоило себе исключительное право издания журналов или по крайней мере имело за ходом их непосредственное и строгое наблюдение. Двор и министерство иностранных дел распорядились бы журналами политическими, Национальный институт^[17] – учеными и литературными. Произнесение мнений и суда в делах политики, наук, искусств, словесности должно быть исключительно предоставлено людям громкой известности, с несомненными, общепризнанными заслугами, людям благонамеренным и добросовестным. Положим, что и тут вкрадывались бы иногда

некоторые несправедливости и пристрастие; но они были бы каплею в море сравнительно с тем, что видим ныне; в сравнении с теми бесчисленными злоупотреблениями, которые, не будучи преследуемы, достигли наконец, в некотором смысле, силы права и власти.

– Допуская же независимое существование журналов в частных руках, непременно должно строгими мерами ограничить своеволие издателей, отнять у них всякую возможность оскорблять личность и под видом выражения политических или литературных мнений вдаваться в брань и ругательства, к произвольному унижению имен и репутаций. Я согласна, что такое ограничение первоначально встретило бы у нас, во Франции или Англии, большие препятствия; но в соседних нам державах, где свобода тиснения более обуздана, где существует цензура, весьма легко достигнуть прекрасной цели обращения журналов на одно лишь полезное, доброе, с устранением явной несправедливости и дерзких выходок, стремящихся к поруганию личности, к посягательству на неприкосновеннейшие права достоинства человека.

– Для литератур юных, еще не успевших развиться до самостоятельности, в странах, где, при отсутствии цензуры, общественное мнение еще не созрело и не противопоставляет оппозиции какому-нибудь наглому крикуну, ничего нет вреднее, как журнальная монополия. Она останавливает ход литературы, сообщает ей ложное направление,

злонамеренно подрывается под истинные дарования и расчетливо возвышает посредственность тайною корыстною целию, которую можно изобразить в следующих словах: «Чем больше хороших книг порицается журналами, чем меньше расходуется отдельных изданий, тем, естественно, периодические больше приобретают подписчиков». Думают, как я уже сказала, что журналы способствуют распространению просвещения; но не ошибочное ли это убеждение? Множество молодых людей, неоперившихся юношей, пренебрегают систематическим, классическим образованием, прочным и истинным, и взамен его черпают отрывчатые сведения и познания из разных журналов, весьма часто проповедывающих нелепые теории и вредные воззрения... О, весьма легко можно бы было устроить дело иначе и, лишив журналы губительной их силы, сообщить им дельное и благое направление!..

– Вы, кажется, мечтаете об Утопии, герцогиня? – заметил я.

– Нимало! Ограничить злоупотребления периодических изданий и повести их по пути истинному – дело очень возможное: следует только взяться за него твердою рукою, умно и обдуманно; принять сильные меры, привесив некоторого рода нравственные гири к головам людей неблагонамеренных, чтобы они не могли двигаться слишком произвольно...

– Я совершенно согласен с вами, герцогиня, в том,

что не мешало бы ввести журналы в пределы приличия и умеренности; но полагаю, что вы преувеличиваете вес и значение журнального влияния в обществе. Журналы скорее служат ему развлечением, нежели указателем. Кто верит им, тысячу раз испытав их несправедливость? Какого опытного и благоразумного человека могут обмануть они? Касательно же литературной критики, мне кажется, что хорошую книгу унижить мудрено, и истинное дарование, рано или поздно, несмотря ни на какое противодействие неблагонамеренности, узнаётся и признаётся всеми...

— О, без всякого сомнения! И не может быть иначе: потому что в противном случае ложь имела бы окончательный перевес над истиною, чего, к счастью, мы еще не видим в мире, вопреки всем усилиям зла и недоброжелательства людского. Но из этого не следует, однако ж, что должно равнодушно смотреть на всякое злоупотребление и не стараться вырвать вредное и неблагородное орудие из рук недостойных, нечистых... (ч. III, 112–128).

Из этого отрывка читатели могут убедиться, как глубоко г. Брант изучил Францию и как тонко постиг он ее потребности. Мы уверены, что г. Бранту стоит только явиться в Париж с французским переводом своего романа, и его тотчас же сделают там первым министром, на место Гизо. А какое было бы счастье для Франции иметь подобного министра! он, не хуже Ивана Александровича Хлестакова, все бы устроил в один день ко благу Франции: журналисты не сме-

ли бы преследовать дрянных писачек и бездарности явилось бы просторное и свободное поприще... а от этого, разумеется, Франция сделалась бы счастливейшим государством в мире... Однако ж, при всем своем глубоком знании Франции и ее потребностей, г. Брант очевидно ошибается кое в каких фактах. Во-первых, он чересчур преувеличивает важность рецензий во французских журналах: во Франции журналами называются газеты, а то, что у нас, в России, называется журналом, во Франции носит общее имя *revue*. Французские журналы (то есть газеты) литературою почти не занимаются, обращая все свое внимание исключительно на политику. Даже *revues* отличаются преимущественно политическим направлением, и если говорят о литературных сочинениях, то лишь о замечательных – о таких, которые скорее можно хвалить, чем бранить, и таких похвальных рецензий во французских *revues* является очень много, потому что во Франции является очень много хороших литературных произведений. Жаль, что г. Брант вовсе не читает французских периодических изданий: если б его природная проницательность была соединена с знанием дела, он не впал бы в такие грубые ошибки, которые очевидны для всякого мало-мальски грамотного человека. А всё виновато его пылкое, романтическое воображение! Оно-то было причиною, между прочим, и того, что г. Брант не вполне описал литературный вечер у г-жи Жюно. Мы знаем, из каких источников почерпал г. Брант все эти драгоценные факты – из собственных запи-

сок герцогини. Но этого недостаточно: следовало бы ему заглянуть и в записки современников г-жи Жюно, посещавших ее салон. Вот что, в записках одного из них, нашли мы касательно описанного г. Брантом литературного вечера у герцогини д'Абрантес: ^[18]

– А видите ли вы (сказала г-жа Жюно, отделив журналистов), видите ли вы вон этого низенького, кругленького человечка с румяным лицом, похожим на пушистый персик? Это презамечательное существо. Он родом бельгиец; над лбом у него голая яма, тщательно прикрытая волосами. Он глуп, как это сейчас можно видеть по его самодовольному лицу; но это бы еще ничего; худо то, что он помешан на *двух* идеях, как ни странно подобное физиологическое явление. Первая – что он сын Наполеона и наследник французского престола. Дураку вообразилось, что Наполеон в один из своих походов пил чай у его матери и что этому обстоятельству он обязан своею жизни». Как все глупцы, он с физиономиею разряженного лакея (NB. В *подлиннике*: avec sa physionomie d'un laquais endimanche²) считает себя красавцем и находит в выражении своей телячьей фигуры что-то общее с лицом Наполеона. Посмотрите на него поближе: фрак на нем серый; складной шляпе своей (chapeau claqué) он дает форму наполеоновской трехуголки, а руку – посмотрите – важно держит за жилетом; булабочка его шейного платка с Наполеоном, перстень

² со своей физиономией празднично выраженного лакея (*фр.*). – *Ред.*

с Наполеоном, табакерка с Наполеоном. Второй пункт его помешательства – авторство. При своей глупости, он ужасно бездарен. Книги его нейдут, и он приписывает это зависти журналистов и падению Наполеона. Наконец, увидев у уличных разносчиков экземпляры одного своего нового сочинения, раздаренные им приятелям и журналистам с собственноручными его униженными надписями, он, бедняк, не вынес – и объявил себя на Вандомской площади, среди белого дня, сыном Наполеона! Его заперли в дом, где лечат от притязаний на родство с великими мира сего... Через год он поправился и опять начал писать и печатать, но уже при этом стал поступать осторожнее – стал являться к журналистам, подличать перед ними, захваливать их печатно. Но этим он только наделал себе новых бед: журналисты, столь часто несогласные между собою во многом, на этот раз единодушно решились сделать из писаки – шута для своих фельетонов и на его счет забавлять публику. При этом они имели еще в виду отделаться от его посещений, упрямых и настойчивых, несмотря на то, что слуги журналистов захлопывали двери у него под носом, говоря: «Дома нет». Но поверите, до какой степени раздражительно самолюбие этого дурака: говоря с вами, он беспрестанно обижается. Если ему холодно, вы обидите его смертельно, сказав, что вам жарко. О чем бы вы ни заговорили с ним, он сейчас своротит на литературу, на свои труды, на несправедливость критики. Особенно он стал раздражителен в последнее

время, увидев, что журналисты не перестают над ним смеяться, а к себе его решительно не пускают, оставив с ним всякие церемонии. Для утешения своего он пишет на них пасквили, над которыми они сами смеются первые, потому что злость бессильного врага всегда забавна. Он всегда носит с собою какое-нибудь новое свое маранье. Видите ли, у него из бокового кармана торчит бумага: это рассуждение о том, что критику надо запретить, потому что она ведет к безбожию, мятежам и явному неуважению... плохих стихов и глупых романов и повестей... Замечайте: он с кем-то заговорил; румянец ярче вспыхнул на его животнo-мясистом лице; слышите ли, голос его поднялся целою октавою выше, и он кричит: «Конечно, милостивый государь, я не принадлежу к числу таких гениальных писателей, как г. Гюго, или г. Бальзак, или г. Ламартин, или г. Жанен, к числу которых, может быть, принадлежите вы; но все-таки мои сочинения – смею надеяться – заслуживают некоторого внимания, и вы очень ошибаетесь, думая, что я позволю вам оскорблять меня... Я понимаю, почему вы хвалите фельетоны г. Жанена: вы знаете, как недобросовестно он отозвался о моей поэме... Он переписал мои стихи сперва снизу вверх, а потом нарвал по стиху из каждой страницы... я не виноват, что смысл выходит все такой же, как если б мои стихи читались и сверху вниз, по порядку»... Вот вам образчик его пошлого самолюбия, – продолжала герцогиня. – А жаль, по человечеству жаль: несмотря на свою глупость, он мог бы быть порядочным писцом

в канцелярии или порядочным корректором и мог бы последнею из этих должностей добывать себе хорошие деньги. Он необразован, без всяких сведений, ничего не читал, кроме своих сочинений; но он порядочно знает грамматику и достаточно силен в орфографии. Был бы славный корректор. Но, вместо того, он разоряется на издание своих глупых сочинений. Если опять не сойдет с ума, то ему придется умереть с голода...

Из этого отрывка да убедится г. Брант, что и мы знаем салон г-жи Жюно по крайней мере не хуже его, г. Бранта, который во всех французских герцогских салонах, как у себя дома...

Поступив в домашние секретари к графу, Евгений свел связь с графинею. Знаменитое это событие воспоследовало в карете (стр. 153). Потом Евгений влюбился в дочь графа. Эту любовь его г. Брант называет «истинною», а мы назвали бы ее приторно-сытовою, даже не сахарною, потому что сахар все-таки материал слишком дорогой и благородный для идеальности людей с низкими чувствами, каков был Евгений (см. стр. 130 второй части). Дочь графа оказалась кузиною Евгения, дочерью сестры его матери. Ее выдали за какого-то престарелого герцога. Но чрез несколько лет, овдовев, она явилась к Евгению, говоря ему, что вышла за старика из крайности и по расчету, потому что «супруг более молодой... был для нее опаснее... Произнеся последние слова, Елена покраснела и потупила взоры...» (стр. 258). Затем они, к несказанному удовольствию г. Бранта, сочетались за-

конным браком. Евгению тогда было уже сорок лет, и ему ничего не оставалось больше, как жениться. – И вот вам *жизнь, как она есть!*..

Ух! позвольте отдохнуть! Мы не только прочли роман г. Бранта, но и пересказали вам его содержание, – а это подвиг немаловажный! До сих пор мы шутили, а теперь скажем серьезно, что, несмотря на грамматически правильные, несмотря на риторические, по старинному манеру обточенные и облизанные фразы этого романа, трудно вообразить себе что-нибудь более пошлое, нелепое. Отсутствие фантазии совершенное, бедность воображения непостижимая. Это просто сцепление небывалых происшествий на небывалой земле с небывалыми людьми. Все эти люди – как две капли воды похожи друг на друга, то есть все в одинаковой степени невыносимо нелепы, все, не выключая ни Наполеона, ни Гете, ни герцогини д'Абрантес, бог весть зачем приплетенных к грязным похождениям глупого мальчишки. И самые эти похождения лишены того качества, которым думал сочинитель польстить плотоугодничеству известного класса читателей: они мертвы и холодны, как и та фальшивая мораль, с которою они переболтаны, как вода с салом. И к какой стати тут Наполеон и Гете? Не только эти люди, но даже и герцогиня д'Абрантес слишком не по плечу таким сочинителям, как г. Брант. Но такие-то сочинители особенно и храбры и ни перед чем не останавливаются. Они понимают все просто и думают, что Наполеон и Гете думали и чувство-

вали точно так же, как и они, горемычные писаки...

Мы пересказали все содержание романа г. Бранта, все... как оно есть, не упустив почти ни одной черты; остальное в нем – болтовня, водяное, многоглаголивое и бесцветное пространство пересказанного нами. Мертво, вяло, скучно, пошло!

Г-ну Бранту не удалась критика, не удались повести, и он вздумал написать роман с «веселенькими» похождениями и – очень кстати – с Наполеоном и Гете; но и этого не сумел сделать... такое несчастье! Роман его принадлежит к той литературе, которая называется по-латыне *literatura obscena*;³ но, если б в этой грязи было хоть сколько-нибудь дарования, мы бы поздравили г. Бранта и с таким успехом...

Неужели и после этого г. Брант будет продолжать забавлять публику на свой счет нападками на зависть и недоброжелательство журналистов, будто бы убивающих таланты? От сотворения мира по сие время ни один журнал не убил ни одного истинного таланта и не отвадил ни одного плохого писателя от дурной привычки пачкать бумагу. Улика налицо – сам г. Брант: если в нем, г-не Бранте, есть талант, насмешки журналов не ослабили же его таланта и не помешали ему, после «Аристократки», написать «Жизнь, как она есть»; если же в нем, г-не Бранте, нет таланта – все равно: насмешки журналов не прекратили его охоты истреблять попусту бумагу, и после всеми осмеянных повестей, рецензий, «Ари-

³ непристойная литература (*лат.*). – *Ред.*

стократки» он вот издал же всеми же осмеиваемую «Жизнь, как она есть»...^[19]

Примечания

Жизнь, как она есть. Записки неизвестного, изданные Л. Брантом... (с. 436–451). Впервые – «Отечественные записки», 1844, т. XXXII, № 2, отд. VI «Библиографическая хроника», с. 88–101 (ц. р. 31 января; вып. в свет 3 февраля). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. IX, с. 83–100.

Ознакомившись с полученной от А. В. Никитенко корректурой рецензии, 31 января 1844 г. Краевский обратился к нему с письмом, в котором протестовал против попыток цензуры выбросить из нее часть текста (см. письмо: Белинский, АН СССР, т. VIII, с. 663). Судя по журнальному тексту рецензии, Никитенко в целом благожелательно отнесся к просьбе Краевского. Тем не менее весьма вероятно, что некоторые исключения и поправки были им все же сделаны.

Л. В. Брант – беллетрист и критик конца 1830–1840-х гг., в течение ряда лет фельетонист «Северной пчелы» (под псевдонимом: Я. Я. Я.). Одержимый, по выражению Белинского, страстью «сочинять во что бы то ни стало», Брант перепробовал себя во многих родах – в повести, романе, критических статьях и библиографических обзорах и т. д., публикуя книжки и брошюры за свой счет. Все это неизменно вызывало насмешку в журналах самых разных направлений.

«Жизнь, как она есть» эклектически сочетала приемы

авантюрного романа старого типа с эффектами популярного романа-фельетона французской школы. Страстью Л. Бранта также было изображать «свет», хотя, по замечанию Белинского (в восьмой статье о Пушкине), сочинителям этого рода «гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов» (см. наст. изд., т. 6, с. 378). Наконец, подражая шаблонам худших «исторических романов» 1830-х гг., Брант в «Жизни, как она есть» сводил своих мелких «героев» с действительными историческими личностями. Но особенно резкие, уничтожающие отзывы критиков и в первую очередь Белинского в этой рецензии на роман были вызваны тем, что, «обиженный критикой», Брант предпринял все, чтобы очернить и оклеветать своих противников, давая им памфлетные, легко раскрываемые читателем характеристики. С реакционных позиций в первую голову осуждалось направление «Отечественных записок» и при этом высказывалось пожелание, чтобы преследования печати со стороны правительства были еще усилены, дабы искоренить всякую «неблагоденность».

В рецензии Белинский приводит без каких-либо изменений и сокращений все, что было сказано по этому поводу автором романа, а затем кончает своеобразной пародией на эти его выпады, пародией, заключающей убийственную характеристику самого Бранта.

Комментарии

1.

Название романа Л. Бранта затем часто применялось в пародийных целях и Белинским, и другими критиками 1840-х гг.

2.

Иронический перифраз строк из XXV строфы главы седьмой «Евгения Онегина»:

3.

Речь идет о составленных Л. Брантом брошюрках: «Опыт библиографического обозрения, или Очерк последнего полугодия русской литературы с октября 1841 по апрель 1842» и «Несколько слов о периодических изданиях русских», которые он выпустил в 1842 г. и рассылал «при газетах безденежно». Рецензию на них см.: Белинский, АН СССР, т. VI, с. 189–194, где они едко характеризованы как «новые холостые выстрелы в поле» (с. 192), как пустые оценки книг без «какого-нибудь критического кодекса», но «с невыразимыми претензиями на красноречие». В брошюрах содержались отрицательные характеристики критических статей Белинского.

4.

Брошюра Л. Бранта «Петербургские критики и русские

писатели. Несколько мыслей о современном состоянии русской литературы в отношении к критике» (СПб., 1840) представляла собой раздраженный ответ «сочинителя» на критику ранее изданной им книги «Воспоминания и очерки жизни» (1839, в 2-х томах). На эту брошюру Белинский тогда же откликнулся двумя краткими рецензиями в «Отечественных записках» и в «Литературной газете» (см.: Белинский, АН СССР, т. IV, с. 62–63 и 19–20).

5.

См. рецензию Белинского на «Аристократку» – наст. изд., т. 5. Большая издевательская рецензия на эту бездарную «светскую повесть» была помещена также О. И. Сенковским в «Библиотеке для чтения» (1843, т. LVII, отд. VI, с. 1–11).

6.

Курсив в цитатах здесь и далее (за немногими исключениями) принадлежит Белинскому.

7.

Имеется в виду период так называемых «Ста дней».

8.

Беттина – Элизабет фон Арним (1785–1859), жена немецкого поэта-романтика Ахима фон Арнима и сестра другого поэта-романтика – Клеменса Brentано.

Сама поэтесса, восторженно настроенная, девушкой была влюблена в Гете. Переписка между ними была издана Беттиной под названием «Переписка Гете с ребенком» (1835).

9.

На отмеченных страницах описано, как «герой» насильно овладевает любимой женщиной, и в заключении следуют такие «пассажи»: «Так бьется бедная птичка, пойманная маленьким шалуном, тщетно сиюсь вырваться из рук его на свободу... Так благороднейшие стремления душевные и страсти сердца умолкают в человеке, гнетомом извне враждующими обстоятельствами земного существования...»

10.

Книгу В. М. Строева «Париж в 1838 и 1839 годах» (в 2-х частях, СПб., 1841–1842) высоко оценил за богатство фактов и живое изложение Белинский в специальной рецензии (см. наст. изд., т. 4).

11.

Имя героя многотомного романа французского писателя Ж.-Б. Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787–1790).

12.

Карикатурное изображение редактора журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского.

13.

Современники видели здесь карикатурный портрет Ф. А. Кони, драматурга и журналиста, редактора-издателя «Литературной газеты» в 1841–1843 гг., редактора журнала «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840–1841 гг.).

14.

Весь этот длинный абзац посвящен А. А. Краевскому и «Отечественным запискам». Следует учесть, что основные статьи журнала, принадлежавшие Белинскому, приписывались иногда публикой издателю-редактору журнала, и сам Краевский стремился создать такое впечатление.

15.

Карикатурное изображение В. Г. Белинского.

16.

Другой... желающий казаться львом — И. И. Панаев, постоянно сотрудничавший в «Отечественных записках»; автор повестей, бытовых очерков и так называемых

«типов». В «Отечественных записках» печатались также его обозрения французской литературы. В упомянутом выше письме Краевского к Никитенко в числе изображенных у Бранта лиц указывается и Н. А. Некрасов. Однако явных данных для подобного предположения в цитируемом эпизоде романа нет.

17.

Национальный институт – наименование Парижской академии наук.

18.

Далее, указав на мнимый источник «фактов», преподносимых Брантом (мемуары герцогини д'Абрантес), Белинский под видом отрывка из записок одного из посетителей салона герцогини дает сатирико-пародийное изображение самого Л. Бранта.

19.

Среди отзывов на этот роман Бранта, помимо рецензии Белинского, особенно выделялись сатирические отзывы в «Библиотеке для чтения» (1844, т. LXII) и «Москвитяине» (1844, № 4).